

А. А. УХТОМСКИЙ

Дальнее зрение

Алексей Алексеевич Ухтомский
Игорь С. Кузьмичев
Дальнее зрение. Из
записных книжек (1896–1941)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24822320

Алексей Ухтомский. Дальнее зрение. Из записных книжек (1896–1941):

Трактат; Санкт-Петербург; 2017

ISBN 978-5-9909419-5-3

Аннотация

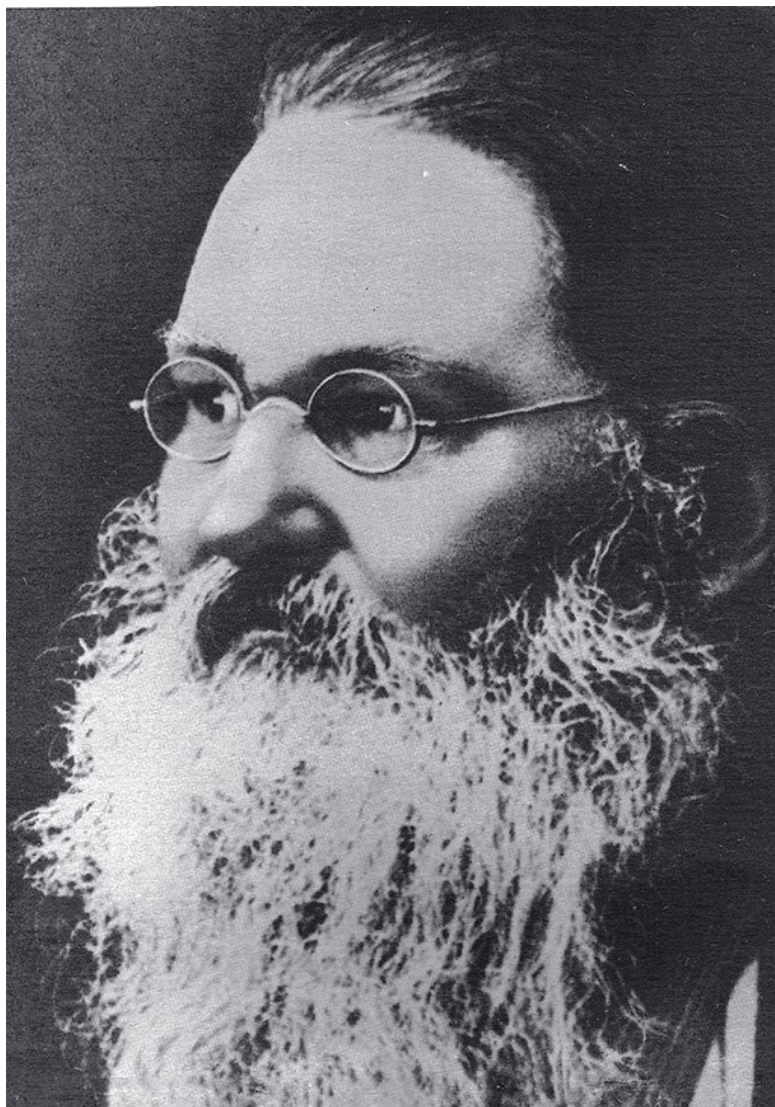
Алексей Алексеевич Ухтомский (1875–1942), физиолог с мировым именем, обладал энциклопедическими знаниями в области философии, богословия, литературы и оставил свой след в «потаянном мышлении» России 1920-х-1930-х годов. Князь по происхождению, человек глубоко религиозный, он пользовался неслучайным авторитетом среди старообрядцев в Единоверческой церкви. Кардинальные нравственные идеи А. А. Ухтомского, не востребованные XX веком, не восприняты в должной мере и сегодня. Дневниковые записи А. А. Ухтомского, включенные в настоящий сборник, печатаются по изданиям: Ухтомский А. Интуиция совести: Письма. Записные книжки. Заметки на полях (СПб., 1996); Ухтомский А. Заслуженный собеседник: Этика. Религия. Наука (Рыбинск, 1997); При

подготовке текста А. А. Ухтомского сохранены некоторые особенности его правописания и пунктуации.

Содержание

Предисловие	8
Дальнее зрение	18
1896	18
1897	39
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Алексей Ухтомский
Дальнее зрение.
Из записных
книжек (1896–1941)



© Кузьмичев И. С., составление, предисловие, 2017

© Издательство «Трактат», оформление, 2017

Предисловие

Алексей Алексеевич Ухтомский – явление в русской культуре XX века уникальное. Физиолог с мировым именем, он отличался разнообразием гуманитарных интересов, энциклопедической начитанностью в области философии и литературы, свободным видением многосложных нравственных, социальных, эстетических и религиозных проблем. Его эпистолярное и мемуарное наследие – подлинное откровение. Оно сохранилось, к великому сожалению, далеко не полностью и, кажется, по сей день еще не оценено в должной мере.

Ухтомский не был писателем, но с юных лет и до последних дней жизни испытывал «странную потребность» закреплять в слове напряженный процесс духовного самопознания. В литературном наследии Ухтомского нет художественных произведений, однако его письма можно рассматривать подчас и как страницы эпистолярного романа, и как фрагменты философских трактатов, и как лирическую исповедь, а его записные книжки, в свою очередь, свидетельствуют о ясности авторской мысли, таланта живописания, искренности чувств, психологической проницательности. И вдобавок ко всему Ухтомский был наделен даром – «дальнего зрения», ощущения грозной поступи истории.

Алексей Алексеевич Ухтомский родился 13 июня 1875

года в пошехонском захолустье – в сельце Вослома Ярославской губернии, детство провел в Рыбинске, хранившем корни допетровской, старообрядческой культуры, происхождения был княжеского, от Рюриковичей. Учился Ухтомский в городской классической гимназии, а тринадцати лет был отправлен в Нижний Новгород, в Кадетский корпус, который когда-то окончил его отец. Уже там он привык систематически штудировать труды по философии и увлекся математикой. В девятнадцать лет был выпущен из корпуса с отличием, но офицером не стал, навсегда, впрочем, сохранив военную выправку.

Годы обучения в Кадетском корпусе совпали для Ухтомского с тем странным возрастом кончающегося отрочества и начинающегося мужества, когда человек сталкивается с определяющим жизненным выбором, когда «волнение знания, любопытства, теоретизма» (В. Розанов) заставляло великие умы отворачиваться от шумных утех и прятаться в «монастырь философии», когда человек, доведя до предела темперамент в себе, испытывал «сладость отречения»: в молитве отрока-послушника либо во всяком воздержании ради устремления к добру, к идеалу христианского совершенства. Здесь – источник аскетизма Ухтомского, который он сам истолковывал как самоотрицание во имя идей, отказ от «приятного» из высших нравственных соображений. Не аскетизма по принуждению или подражанию, а того естественного аскетизма, когда, по словам В. Розанова, человек, и совлекши

с себя плоть, любит мир именно во плоти, во всех его видах и формах, «излучаясь величайшей нежностью» ко всей природе.

По окончании Кадетского корпуса Ухтомский поступил на словесное отделение Московской духовной академии, где его еще больше заинтересовала неотделимая от религиозного сознания русская идеалистическая философия, признанным выразителем которой в России был тогда Владимир Соловьев.

Обращение к науке, к философии и вместе с тем – к Богу показательно для Ухтомского. Порог Духовной академии он переступил «уже вкусивший прелести мысли», полагая: «Раз начав думать, человек уже не должен „обращаться вспять“; он должен искать спасения в мысли же». Об этом, обозначая свои жизненные цели, писал и в дневнике в 1897 году: «... мое истинное место – монастырь. Но я не могу себе представить, что придется жить без математики, без науки. Итак, мне надо создать собственную келью – с математикой, с свободой духа и миром. Я думаю, что тут-то и есть истинное место для меня».

Его влекла «анатомия человеческого духа до религии включительно», интриговали границы метафизики – те рубежи, «до которых мы можем научно думать». Избрав темой диссертации «космологическое доказательство бытия Божия», он посчитал верным придерживаться того же «способа и направления мысли, какой создал науку о природе».

И при этом отстаивал принцип автономии науки, готовый оберегать ее «от нападений богословствующего разума».

Ухтомский не терял надежды «оправдать молитву из начал науки», найти правду и свет в «келье с математикой». Он чувствовал: грешно уходить от жизни в одинокое самозаслаждение духовными благами – и потому искал конкретного полезного дела и активного поприща. Ему по сердцу был деятельный аскетизм мирянина. Поведенческий статус «монаха в миру» лучше всего соответствовал его душевному составу.

После Духовной академии Ухтомский отправился поступать в Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета. Однако лицам с духовным образованием сфера естественных наук официально была заказана, поэтому он в 1899 году попадает сперва на восточный факультет по еврейско-арабскому разряду – с тем, чтобы год спустя перевестись на естественное отделение. В двадцать пять лет он опять с охотой сел на студенческую скамью, учился усердно и усидчиво и через два года утвердился ассистентом на кафедре физиологии животных, у профессора Николая Евгеньевича Введенского.

Петербург угнетал Ухтомского, – и не только климатом, но нарочитой ориентацией на Западную Европу, духом скепсиса и аморальностью, прагматизмом и бессердечием «каннибальской общности». Ухтомский прямо заявлял: «Иногда кажется, что продал я духовное старшинство за пи-

терскую жизнь, как Исав за чечевичную похлебку...»

В 1896 году в статье «Психология русского раскола» В. В. Розанов писал: «Есть две России: одна – Россия видимостей, громада внешних форм с правильными очертаниями, ласкающими глаз, с событиями, определенно начавшимися, определительно оканчивающимися, – „империя“, историю которой „изображал“ Карамзин, „разрабатывал“ Соловьев, законы которой кодифицировал Сперанский. И есть другая – „Святая Русь“, „матушка Русь“, которой законов никто не знает, с неясными формами, неопределенными течениями, конец которых не предвидим, начало неизвестно: Россия существенностей, живой крови, непочатой веры, где каждый факт держится не искусственным сцеплением с другим, но силою собственного бытия, в него вложенного. На эту потаенную, прикрытую первую, Русь – взглянули Буслаев, Тихомиров и еще ряд людей, имена которых не имеют никакой „знаменитости“, но которые все обладали даром внутреннего глубокого знания». К последним, богато наделенный от природы даром внутреннего глубокого знания, принадлежал и старообрядец князь Ухтомский.

Пространство всемирной истории четко просматривалось. Ухтомский словно парил над временными и географическими барьерами, и российскую катастрофу воспринял как следствие законов, диктуемых грешному человечеству неподвластной ему Волей. Он судил современность высшим судом, неизбежным «перед концом истории», наблюдая во-

очию «намекательное стечение признаков», предвещающих гибель и христианской культуры, и европейской цивилизации.

Неудивительно, что Ухтомского дважды арестовывали: 17 ноября 1920 года в Рыбинске безо всяких на то причин и в мае 1923 года в связи с закрытием Никольской церкви в Петрограде.

Тем не менее, в 1922 году Ухтомский с кончиной Н. Е. Введенского принял кафедру физиологии под свое начало и после десятилетних проверок обнародовал наконец свой закон доминанты, что стало, безусловно, звездным часом в его научной биографии.

1920-е годы меняли декорации, государство судорожно перестраивалось под нажимом диктаторских лозунгов, – а жизнь Ухтомского текла своей колеей. Он верой и правдой служил университету, читал общие и специальные курсы на биофаке, завоевав репутацию всеми любимого профессора.

Один из его учеников вспоминал, как победительно выглядел Алексей Алексеевич, шагая по коридору Главного здания: высокий, широкоплечий, импозантный, с окладистой седой бородой и откинутыми назад черными волосами, одетый в длинную суконную рубаху, подпоясанную кожаным тонким ремнем; шел по просторному университетскому коридору четким шагом, громко стуча каблуками сапог, – с поднятой головой, держа в одной руке картуз, в другой ненагруженный портфель: шел, как на праздник, с улыбкой отве-

чая на приветствия, – читать лекцию...

И это в условиях, когда к концу 1920-х годов Университет и Академия наук утратили даже относительную независимость и оказались под жесточайшим гнетом партийных властей, когда развернулась «классовая борьба на теоретическом фронте» – с идеалистической философией и «мистицизмом», когда после повальных чисток место ошельмованных, арестованных и сосланных ученых занимала «красная профессура», и биофак университета не был тут исключением.

Удары, нанесенные науке в 1930-е годы, превзошли самые мрачные прогнозы. И все же середина 1930-х оказалась для Ухтомского чрезвычайно плодотворной. В 1934 году он возглавил образованный по его инициативе научно-исследовательский Физиологический институт при университете и, определяя стратегию работ, наметил направление «более широкого и общего значения, чем обычный путь классической физиологии», поставив целью изучать проблемы человеческого сознания комплексно, заложив первым в стране основы физиологической кибернетики.

А в 1935 году Ухтомский принял участие в XV Международном физиологическом конгрессе, который проводился в Ленинграде и в Москве. Накануне конгресса издали на английском языке сборник его статей; доклады его учеников тщательно готовились в институте; когда в Ленинград съехались крупнейшие ученые мира, Ухтомский с ними встре-

чался и беседовал; на заключительном заседании в Москве он прочел по-французски блестящий доклад «Физиологическая лабильность и акт торможения».

Весна 1937 года была беспрецедентной по накалу политических провокаций. «Под влиянием „активов“, проходивших у нас в апреле, – жаловался Ухтомский в письме Фаине Гинзбург, – я так устал нравственно и нервно, что уже от небольшого добавочного дела сбиваюсь в состояние острого утомления... мне пришлось просидеть в непрерывном напряжении три дня „актива“ в нашей лаборатории и два дня „актива“ же в Институте Орбели. Это очень тяжело и расточительно для нервной системы старого человека. Между тем предстоят и еще „активы“! Пока мы их проводим, заграница ведет подлинные научные работы, так неузнаваемо перестраивающие нашу науку!...»

В канун 1940-х годов, когда над Европой снова сгустились военные тучи и окончательно обрел силу разноликий фашизм, когда человечеству опять предстояло пройти «через кровь и дым событий», Ухтомскому не давала покоя идея «исторической совести».

«Культура зоологического человека» ничего не обещала, кроме новой полосы одичания. Предстоял очередной фатальный круг катастрофических испытаний, и роптать было бесполезно, потому что усомнился человек в своем высшем предназначении, «оглушился страстями», принял природу за «мертвую и вполне податливую среду, в которой можно

распоряжаться и блудить» сколько угодно.

Ухтомский знал, что природа, мир Божий, не потерпят надругательства над собой, ответят на преступления, творимые «просвещенными цивилизаторами», и Россия сущест-венностей непредсказуемо отреагирует на социалистиче-ские умствования – рано или поздно.

В мае 1941 года Ухтомский записал в дневнике: «Выду-мали, что история есть пассивный и совершенно податливый объект для безответственных перестраиваний на наш вкус. А оказалось, что она – огненная реальность, продолжающая жить совершенно самобытной законностью и требующая нас к себе на суд!»

«Огненная реальность» запыхала по России, и Ленин-град быстро оказался в кольце блокады.

К той поре у Алексея Алексеевича, по его признанию, уже «начало заметно сдавать сердце, наследственный недуг Ухтомских» и до срока обнаружилось «собрание старческих болезней». В письме к В. А. Платоновой 22 июня 1942 года он писал: «Возраст мой для нашей семьи большой и немо-щи мои в порядке вещей. Жаль, что они совпали со столь трудными, жестокими для отечества и народа днями!.. Все-го, всего, всего Вам доброго, прежде всего – дальнего зре-ния, которое не давало бы ближайшим и близоруким впечат-лениям застилать глаза...»

Скончался Ухтомский 31 августа 1942 года и был погреб-

бен на Литераторских мостках Волкова кладбища.

Дальним зрением он дорожил больше всего – и в Первую мировую войну, в пору общего расслабления и духовной смуты, и в «отступнические годы» бесчеловечной революции, и позже, размышляя о «мировых траекториях», уносящихся в «темную мглу предстоящей истории». Дабы видеть будущее, он оглядывался далеко назад, в глубь веков...

И. Кузьмичев

Дальнее зрение из записных книжек (1896–1941)

1896

22 сентября

Возвращаясь воспоминаниями к прошлому, мы обыкновенно с любовью перебираем пережитое нами. «Все то нам мило, что прошло». Но иногда, напротив, является мысль: как все это незначительно и бесцельно, – даже самое крупное из пережитого нами. Мы сами виноваты, если приходим к такому печальному выводу. Самое великое и задушевное, если мы не сумели воспользоваться им для своего нравственного и вообще духовного роста, теряет для нас цену, но вместе с тем мы теряем и это «великое и задушевное».

25 сентября

Мы все стремимся к счастью и хотим быть счастливы; но

указать – в чем условие нашего счастья – мы не можем; опыт доказывает нам это. Тем не менее эта неопределимость нашего внутреннего состояния счастья – внешними фактами – не дает основания отвергать самое стремление к счастью, как то делают теологи. Кто может быть счастлив достижением частичных благ – да стремится к их достижению; кто потеряет способность к такому счастью – да ищет высшего, не мешая другим продолжать свою погоню за мелкими благами.

26 сентября

На индивидуальную человеческую жизнь применим взгляд как на временное соединение воедино бесконечно разнообразной сущности природы; это случайно явившееся единство крутится в общем вихре природы, во имя инерции пытается сопротивляться внешнему разнообразию сил, горит собственную своею минутною жизнью, и, именно в силу своей самозамкнутости, наконец, сгорает и самопожирается. Индивидуальная жизнь есть пожар кусочка кальция в океане мировой жизни, есть какое-то туманное пятно в необъятном небесном пространстве.

Чувствуешь, разговаривая с человеком, что стоишь около горячей, волнующейся, содрогающейся от собственного жара печи, которая наконец не перенесет собственного напряжения и исчезнет в общем мировом безразличии.

29 сентября

Вместе с жизнью человек создает себе так называемое «мировоззрение», т. е. «теорию мира». Но он должен быть всегда готовым, на какой бы ступени развития ни стоял, – отнестись к своему ближнему, отбросив всякую теорию. «Человек прежде всего практик», – говорит Гёфдинг, и потому его теоретические воззрения должны всегда дать дорогу нравственным.

У человека бывают порывы, убедительные для него и определяющие свою правдою, так сказать – логикою правды. Должен ли он им доверять? Не доверяя им – он живет менее чем половиною жизни. Доверять же не может, зная, что его эгоистическая личность и эти порывы правды уживаются лишь в исключительные моменты жизни; доверяя своим лучшим порывам, человек незаметно дает почву и своей эгоистической природе.

Несомненно, бессмертие души и т. п. истины интересуют нас не сами по себе, но по тем *практическим тенденциям*, с которыми они иногда связываются. Там, где нет ясной наглядной уверенности, – нас интригуют наши личные тенденции, заинтересованные двумя вероятностями...

Тема: «Благо познания» или: «Ценность познания». Когда ослабевает наша мыслительная способность, мы начинаем понимать, какого великого блага мы лишаемся. Как хорошо, что мы знаем нечто! (Вся наша жизнь постольку ценна, поскольку мы знаем действительность.)

Тупой эгоизм «верующего», забывающего все ввиду своего спасения, – гораздо противнее жизненного и часто плодотворного эгоизма непосредственного человека.

3 октября

Соприкосновение с жизнью доказывает нам, насколько она нам неизвестна и непонятна.

Понятым остается абстрактный, по-видимому общий всем людям, мир законов сознания, так сказать, – мир интенсивной жизни индивидуума. И во имя сострадания мы не имеем права посягать на этот интенсивный мир; между тем всякий шаг в экстенсивный мир, – неизвестный, следовательно, сопряженный с риском, – тем самым является посягательством на интенсивный мир нашего ближнего.

Разумные люди, которых так мало и которые нас так увлекают, – большею частью люди, более или менее отрeksiшиеся от экстенсивной жизни. Отречение от экстенсивной жизни лежит в знаменитом изречении: *omnia mea mecum porto*.

Глупо называть человека, руководящегося этим принципом, «эгоистом». Это тот, который избавил мир от своей

личности, – и он «эгоист»!

Что такое «альтруист»? В теории – «человек, отрешившийся от экстенсивной жизни». В практике – большею частью «человек, уверенный, что он понимает экстенсивную жизнь и поэтому, из *принципа*, посягающий на интенсивную жизнь своего ближнего».

«Ты сделал это? А ведь можно было бы сделать лучше! А ведь этого было бы лучше совсем не делать!» Вот суд разума над действиями воли. Однако надо заметить, что если бы разум разговаривал *до* действий воли, то не было бы и жизни; поэтому, с одной стороны, жизнь предполагает санкцию разума после санкции воли, с другой – вряд ли достижимо для смертного «самодовольство», которое справедливо считается высшим и единственным его счастьем.

Покамест сама жизнь не будет иметь самостоятельного интереса в глазах ваших, – интереса, большего сравнительно с интересом самолюбия, рисовки и т. п., до тех пор вы не будете иметь самостоятельной мысли о ней.

Забвение – есть успокоение; это так, но ведь это успокоение искусственное; раз явившееся впечатление, раз замутившаяся поверхность сознания уже никогда вполне не успокаивается и не исчезает. Человек хочет забыть то, что он сделал; но это ему никогда вполне не удастся. Всякое человеческое действие потому и важно, потому и заслуживает стро-

жайшего обдумывания, что раз проявившись, никогда не исчезнет, никогда не обратится в «ничто». «Человек уже никогда не будет иметь возможность начать свою жизнь сначала. Он не может уничтожить ничего из того, что он думал, говорил и делал» (Вернер). Наслаждение не воспроизводится памятью; страдание раскаяния – есть преимущественное действие неумолимой памяти.

В глазах разума бессознательные стремления воли представляют не только нечто неразумное, но и уродливое. Поэтому-то Кант считал уместным скрыть свои увлечения, что ему так хорошо удавалось. Поэтому-то умный Вельчанинов у Достоевского после приятного и любезного вечера на даче – считал себя «униженным, как никогда, что связался...» Наконец, потому-то так стыдится своего увлечения и так неловко ему вспоминать о нем, когда лет через десять он встретит человека, который был ему привлекателен. К увлечению и страсти можно относиться снисходительно и с состраданием; но разум не может их оправдать!

Законно ли смешение метафизических понятий с этическими? Мы знаем о них из двух различных источников. Связь их непосредственно не дается; связь устанавливается поэтами и философами. Наука до сих пор считает наиболее удобным рассматривать то и другое как два самостоятельных мира.

5 октября

Будни – это русская жизнь. Тишина, бесцветность, умеренность во всем, кроме неподвижности и лени, – вот черта этой жизни. Все новое – нарушает и пугает будничное спокойствие русского человека. «Праздники» русского человека созданы для «празднолюбцев».

6 октября

Уже в 76 году Менделееву можно было сказать, что «время татарских набегов на науку миновало». Так счастлива наука в университете. Не то – в академии. Татары еще сильны здесь.

6 октября

«Будь тверд в твоём убеждении, и одно да будет твоё слово», – говорил древний мудрец. Легко с этим принципом согласиться, но не легко следовать ему. Мне раньше в момент дела казалось, я был убежден, что делаю хорошо. Теперь же мне кажется, не сделал ли я глупо. Но надо иногда отбросить эгоистическое сомнение в своих поступках и спрашивать только, не оскорбил ли ты своего ближнего своими по-

ступками.

Как бы вы ни силились вашими отвлеченными понятиями отразить ваши чувства, все это будет или недостаточно, или, если достаточно и талантливо, — оно не для всякого понятно. Но замечательно, что женщина поймет вас сразу, если только вы говорите правду. Тут видно, как вы с вашими понятиями удаляетесь, так сказать, выходите из общего мирового бытия, и как ваши понятия, *если они соответствуют действительности*, удобно и просто поглощаются и усваиваются женщинами, этими носительницами истины мирового бытия. У женщин много менее индивидуализации, чем у мужчин, — в этом легко согласиться с Шопенгауэром, уже взглянув на наружность красивой женщины. Но слабость индивидуализации делает их — гораздо более, чем мужчин, — способными носить в себе общую правду; их *субъективация* гораздо глубже, чем у мужчин. Поэтому разговор и общение с женщиной, не отличающейся особенными умственными дарованиями, может быть не менее поучителен и благотворен, чем разговор с талантливым мужчиной.

Человек, прощаясь с любимым им ближним, говорит, что он прощается с ним не навсегда: не может быть, чтобы он его более не увидал, — это неестественно после той связи, которая возникла между ними. Когда же человек настолько сохранит рассудка, что поймет невозможность такого вторич-

ного свидания, то он все-таки переносит время свидания за гроб на небо. К этому старому методу прибегал Гёте, прощаясь с Лоттой. Очевидно, истина во всем этом – та, что нечто – однажды возникшее между людьми – не исчезает.

Во всяком случае, как пространственный мир реальности есть нечто неопределенное, куда порывается погружаться пытливый ум человека, так и мир психический, разлитый в этом мире пространства, остается для нас навсегда не миром устойчивой определенной жизни, но миром, постоянно требующим познания, следовательно, движения вперед, борьбы... В тумане этого мира где-то затерялись начала, где мы поклоняемся реализации наших идеалов; но эти воплощения наших идеалов уже потому не могут служить нам концом пути, что у нас не может быть с ними идеального общения, – что они «утеряны в тумане».

Заметьте, что «аскетизм» в пошлом смысле слова – связан с самым варварским взглядом на женщину.

Между тем «свои» и «близкие» человеку могут быть только люди. Кант был бы «чужим» Шопенгауэру, если бы они были современниками. Человек начинает следить «за полетом в голубом небе» своего ближнего, когда его уже нет в человеческих условиях, когда он не может войти с ним в обычные (следовательно, «человеческие») условия. Что это? Следствие ли зараженности грехом – личности? Или, может

быть, – прямой вывод из «логичности индивидуального существования»? Или это есть робкое стремление «бедного сына вечности к своему отечеству», о котором говорил Фихте?

Современное богословие <...> есть *психологическая схоластика*, тогда как древнее и старинное богословие (один из последних – Филарет) – *диалектическая схоластика*.

Вера процветает, когда является разочарование в знании. Нет нужды в вере, когда находишь содержание в знании; очевидно, знание привлекательнее веры. Понятно, что не во второй половине XIX века процветать вере, когда знание делает такие громадные завоевания. Проповедники оказывают тактические способности, основывая свои учения на пробелах завоеваний знания. Но тут являются два пути: одни, видя пробелы знания, все желания направляют на заполнение их новыми завоеваниями мысли; другие, напротив, всеми силами стараются не дать заполниться этим проблемам, и пользуются ими для своих целей. Предоставляется решить, кто из этих непримиримых борцов – есть борец за благо человечества. Во всяком случае, нам противно злорадство второго при виде человеческой немощи.

Отрицая ценность индивидуальной личности, Шопенгауэр освобождает себя и своих последователей от труда углу-

биться в нее и сойтись с нею. Но само по себе это отрицание, несмотря на увлекательное изящество и пикантность, которую ему придал гений Шопенгауэра, не всегда может удовлетворить нас. Иногда мы склонны, напротив, думать, что ничего нет ценнее личности. Этот человек, так страстно и безумно улыбающийся, по-видимому, – с самым глупым душевным содержанием, с известной высоты является наинтереснейшею и ценнейшею вещью для нас.

К знакомству с человеком надо относиться тем строже, чем оно мимолетнее. Великое горе, если человек унесет в свою дальнейшую жизнь неправильное впечатление о вас. Не вполне обдуманное слово – достаточно, чтобы впечатление было не правильно.

В духовной жизни много поразительно непонятного, переходы душевных состояний, неуловимые для рефлексирующего разума, но лишь понятные для поэтического духа, превосходят всякое воображение. Понятно, насколько завлекательно в научных целях принять все это бесконечное разнообразие феноменов – за прямую функцию материальной жизни.

Философу очень важно знать, что в мире реальности не все отрицательно, что в нем есть достойное сочувствия. Тот, кто откроет это философу, – есть один из важнейших аген-

тов в его образовании, есть несомненный его учитель. В чем учитель? Хотя бы в том, что теперь серьезнее отнесся к жизни.

Автор, выступив перед людьми со своими творениями, – описывая то, что он пережил, и как это пережитое понимает, должен кровью запечатлеть каждое свое слово, ибо «от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Слово человека – есть нечто новое в мировых вещах, новая реальность; за нее отвечает ее творец. Какая ужасная ответственность! Однако, при всем том, эта ответственность страшна не для всякого. Дьявол, с холодной, идеальной ненавистью смотрящий на людей, не страшится ответа перед вечностью, перед презираемым им человеком; его чело ясно, «без страха и упрека». Страшен ответ для нас, сомневающих и еще более несовершенных в зле, чем в добре.

11 ноября

Читал сегодня письма Жорж Занд в «Вестнике ин. лит.». Вот великая душа!

Этика ощущений, этика сострадания забывает реальность индивидуальной личности. Поэтому она отрицает, но не обосновывает экстенсивную жизнь человека, которая предполагает вне меня индивидуальности, – как предмет моих

стремлений.

Тяжкий путь избирает тот, кто хочет думать, узнавать действительность. Усталый, удрученный – он не может утешиться в религии; совесть не позволит ему для эгоистического утешения принять мелочи религиозной жизни, когда он порвал с крупным ради великого. Не утешится он и в поэзии; там человеческий дух не дается ему сполна. Не ему думать о разврате!.. Так где же утешитель? Блажен тот, кто не потерял веру в утешителя.

Когда начнешь понимать действительность, начнешь замечать пропасть между идеальным и реальным, то всякий оптимизм становится подлым и мерзким в твоих глазах. В чистом и теплосострадательном пессимистическом чувстве – истинное спасение. Только бы пессимизм не выходил за границы, положенные ему истинным вдохновением и истинным реальным взглядом.

21 ноября

На известной ступени развития человек получает великое счастье, начиная понимать различие между миром его идей, миром идейного совершенства – и своею индивидуальностью с ее желаниями и максимумами. Если в человеческом лице нельзя открыть глубоких принципов, которые хранят-

ся в душе индивидуума, – то, несомненно, по нему можно составить суждение о самой индивидуальности. В последнем уверен всякий.

Один раз я взглянул на себя в зеркало и тут почувствовал, какая разница между мною, моею индивидуальностью – и тем идеальным миром, который я в себе ношу. Практический вывод получился такой: странно и несообразно порядку вещей – представлять эту индивидуальность в мире идеальности: она там совсем не на месте. Кстати, я думаю, что мир идеальности упал бы сразу в моем уважении, если бы он был доступен мне реально. Следующий практический вывод: так как в твоих видах, в видах твоей пользы – сохранить в твоём уважении мир идеальности, – то не думай, что будет лучше, если ты путем иллюзий войдешь в мнимо-реальное общение с миром идеальности; иллюзии, – которые, конечно, возможны, – не подымут тебя до твоих идеалов, но лишь унижат твои идеалы до тебя. Всякое реальное общение твое с идеалами будет основано на иллюзии; поняв это, всякий, которому доступно эстетическое и вообще духовное чутье, перестанет профанировать лучшее достояние своего духа – свои идеалы – попыткой их «осуществления» (!) в иллюзии. Когда иллюзия рассеется, возможно, что упадут и идеалы.

Если верно, что о других мы судим по себе, и если верно, что другим мы приписываем свои свойства, – то для меня лично верно и то, что в высшей степени не желал бы встре-

титься с самим собою. Встретившись с человеком, который был бы я сам, я ужасно боялся бы этого человека; с другой стороны, мне очень скучно было бы слушать его речи – эти речи, то исполненные дидактики лисицы в сутане проповедника, то – выражающие неудовольствие Полония, что Гамлет так невежливо помешал ему подслушивать свои слова; и, при всем том, речи именно мои, следовательно – хорошо мне знакомые.

24 ноября

До сих пор наш новый европейский дух еще не в силах говорить о Боге с такою силою и достоинством, с которыми говорил о нем Древний Восток. Лишь редкие отдельные личности поднимают свой вдохновенный голос. Большинство же или индифферентно-клерикально, или мистично, или, наконец (и это лучшее), атеистично. Филарет Московский, Фейербах – это наше большинство; Кант, Гёте, Шопенгауэр – это наши абсолютные единицы.

24 ноября

Постоянное мировое влачение существования нарушается в человеке, когда он однажды представит себе – так или иначе – цель своего существования. Очень часто, – чтобы

не сказать более, — представление конкретной цели существования есть иллюзия. Но раз искусившись сознанием конкретной цели, раз попробовав погрузиться в свою индивидуальность, человек уже не хочет отказываться от наслаждения — обладать «целью существования» и, когда оно рассеется, как иллюзия, он утешает себя сознанием других целей-иллюзий. Когда наконец рассеется цель, особенно сильная по своему обаянию, бедный человек утешает себя последней попыткой: он начинает думать, что есть, по крайней мере, идеальная цель его существования. Бедный человек! Оставьте ему право жить этой мечтой. Она не иллюзия, ибо идеализация ее при нужде растяжима до бесконечности.

Что чувствовал Колумб в виду отдаленных берегов Америки? Что ощущал Людовик XVI, ехавший в Париж при криках народа, в которых уже ясна была его судьба? Что чувствовал Дюмурье, только что вырвавшийся из-под гнета впечатлений парижских драм — и знавший, что его ожидает, если немцы победят? Что роилось в душе Наполеона при виде отступления смутной и расстроенной Великой Армии из-под Лейпцига? Что наполняло чувство Шеллинга, когда он, скорбный и бегущий от людей, скитался стариком? Как выросло вдохновение пессимизма великого Шопенгауэра? Скажите, умерли ли великие чувства и мысли, обитавшие на поверхности земного шара? И, если не умерли, то какова же та скрытая энергия, в которую они утонули?

Отвечай на все это тот, кто знает, что такое – чувство и мысль; и отвечай тогда, когда в тебе есть чувство и мысль.

С течением времени, с ростом человеческого знания – становится все более и более понятной внутренняя психологическая схема, лежащая в основе старинных теорий. Поэтому одна из насущнейших задач современного наукознания – психологический, реальный анализ исторических теорий.

Широкий психологический анализ исторических теорий всегда основывается на предварительном историко-критическом изучении этих теорий. Поэтому психологическому анализу таких теорий должен предшествовать историко-критический их анализ. Исключительный психологический анализ может быть очень остроумен и глубок, в то же время не вполне соответствуя исторической действительности своих объектов. Гениальный психологический анализ истории, сделанный Гегелем, во многих отношениях колеблется выводами новейшего историко-критического анализа. Итак – повторяю – психологическому анализу должен предшествовать историко-критический анализ исторических теорий.

Хотя и редко, но все же это бывает, что человек достигает понимания своего существования, по крайней мере, со стороны его ценности. <...> Действительность есть фатальное стремление вперед. Мир есть выражение этого стремления «волн бытия». Но бывает иногда, что человек перестает

быть пассивным модусом вечности. И если в это время, окинув роковое море, где он затерялся, он не найдет под собою смысла, он может или, по крайней мере, хочет уничтожить себя.

Бывают моменты особого спокойствия по отношению к ближним. Мы видим их путь и не желаем в него вмешаться. Что это, отрицание ли личной воли? Если – да, то, во всяком случае, – уже очень окрепшее и немучительное, напротив, – в высшей степени спокойное. Здесь нет жертвы; может быть, есть способность к милости, – но опять-таки самая спокойная. Это не «альтруизм», не «христианизм» и никакой «изм». Это счастливейшее... впрочем, нет... – это спокойнейшее состояние. Но заметьте, что человека достойно именно спокойное состояние (недаром он создал Олимп). Счастливое состояние ассоциируется с представлением теленка в состоянии восторга. Мудрецы – всегда спокойны; люди общества хотят быть счастливы. С другой стороны, заметьте, что это состояние далеко не эгоистическое (как может некоторым показаться). Поэтому-то искусственно, – путем эгоистического удаления от людей, – оно никогда не достигается. Оно создается «на людях».

Я никогда не стоял перед такой трудной задачей. Вопросы жизни, если они решаются не непосредственно – не чувством, требуют для своего разрешения великого жизненно-

го опыта. Как я хотел бы быть теперь мудрецом, чтобы дать истинный ответ.

30 ноября

Предписывая любить Бога более людей, христианство унижает ценность индивидуальности. Это верно по крайней мере с практической точки зрения. Но решительно вся наша духовная сторона жизни основана на *практическом* признании ценности индивидуальности.

Вот отвлеченная формула противоречия, которым мы мучаемся.

30 ноября

Вижу впереди себя много страдания и горя; не в отвлеченном смысле этих слов, но в конкретном и наглядном, и это особенно тяжело! Холодно, холодно на свете, когда нет, «где главы приклонить»!.. Чувствую, что спасение от страданий – в отрицании себя. Но что поделаешь, если чувство, мучающее нас, непосредственно и большею частью сильнее мысли о самоотрицании.

1 декабря

Страдание есть ненормальность. Это – истина непосредственного чувства. Поэтому-то органическая индивидуальность – эта носительница страдания – и есть единственная в природе вещь, дошедшая до мысли о своей ненормальности.

Какой ближайший вывод отсюда? По крайней мере, самый непосредственный – тот, что когда эта органическая индивидуальность распадется, «исчезнет как пена на поверхности воды», выражаясь поэтическим образом древнего пророка, – это будет великою выгодой для нее. Ведь пена есть какая-то шалость в сравнении с великою покоящейся массой вод. На нас производит лучшее впечатление грандиозное спокойствие вод, чем беспокойное шипение пены на гребне волн.

3 декабря

Шопенгауэр говорит, что два полюса у жизни – страдание и скука. В настоящее время я вижу скорее два следующие: надежда и сожаление. Сейчас у меня надежда. Но предчувствую, что, как и всегда, судьба готовит нечто совсем новое. Господи, как тяжело, когда надежда омрачается таким сомнением. Посмотрим, что будет далее! Поставлю здесь и

число, когда пришло мне это в голову. Сколько-то времени пройдет до следующего сюрприза и отмирания?

19 декабря

Знал ли ты, несчастный Пилат, около кого стоял ты, когда умывал руки в его крови? Из любви ли к нему ты это делал? Или в твоей бедной душе говорило чувство справедливости? Знал ли ты, что пред тобою стоит тот, кто носит в себе все страдание мира, страдание, способное раздавить лучшую человеческую грудь и голову? Знал ли, что мы будем знать твои слова? Бедный, бедный, бедный Пилат!

Обращение с человеком, который от нас зависит, — как с червем, и взгляд на человека, который не имеет в нас ничего — как на Бога, — это постоянное и тягостно-подлое наше обыкновение.

Мефистофель – это мысль. Это «дух, который всегда отрицает». Это Гамлет, Павел Фивейский! Но он достаточно умен, чтобы видеть, что рядом с его отрицательным духом – течет нечто могущественное, столь могущественное, что при всем своем убеждении, что «все, что существует, достойно исчезновения» и что «было бы лучше, если бы ничего не было», – при всем своем убеждении и дьявольской самоуверенности – он едва не сходит с ума при виде упорства бытия мирового порядка. Он сознается, что его поддерживает лишь великая, вдохновенная страсть. <...> И Мефистофель ничего не может возразить Фаусту, когда тот укоряет его, что он «вечно живой, священно творческой силе лишь грозит холодным кулаком, сжимающимся в тщетной ярости». <...>

Вот опять вариации той же истины, – великой дилеммы мира, – смерти и жизни, плоти и духа, Аримана и Ормазда, «мира сего» и «облечения во Христа», падения и восстания, положения и отрицания, воли и мысли.

Войди в течение «вечно живой, священно творческой силы»! Это – нечто великое, вечное, закономерное, естественное, древнее и, при всем том, родное нам – нас породившее. Это могущественнейшая «сансара», затопляющая все на своем пути, не знающая преграды, не понимающая ограничений, – «сансара», пред которой отступает даже сама

мысль, сам Мефистофель... Или же последуй за мыслью, за Мефистофелем; только никогда не обманывайся, что ты стал выше «сансары»... не сделайся из великого Мефистофеля – глупым мистиком!

Большинство людей живет в «сансаре», заглядывая для успокоения в чертовскую сферу мысли. Не отдавшись мысли и не погрузившись совсем в «сансару», они мнут всю жизнь, не находя согласия. Это святоши, ханжи, мистики, декаденты, нигилисты и т. д. и т. д. Мало кто решится, раз начав, – «до конца претерпеть» путь мысли.

Раз начав думать, человек уже не должен «обращаться вспять»; он должен искать спасения в мысли же.

Философия, философский ум – это тощая корова египетского фараона. Она съедает все, что дают ей науки, весь этот «тучный», многими веками собранный материал, – съедает его и все же остается тощею.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.